

Лекция 3. Главные признаки устройств безопасности (III): нормализация

25 января 1978 г. Главные признаки устройств безопасности (III): нормализация. — Нормация и нормализация. — Пример эпидемии (оспа) а кампании прививок в XVIII веке. — Возникновение новых понятий: случай, риск, опасность, кризис. — Формы нормализации в дисциплине и в механизмах безопасности. — Создание новой политической технологии: управление население. — Проблема населения у меркантилистов и физиократов. — Население как оператор трансформаций в знании: от анализа богатств к политической экономии, от естественной истории к биологии, от общей грамматики к исторической филологии

В предшествующие годы (М. Фуко добавляет: «в минувшие годы, то есть в течение одного-двух прошедших лет». — Прим. ред.) я пытался кратко изложить свои соображения относительно особенностей дисциплинарных механизмов в сравнении с тем, что в целом может быть названо системой закона. В этом году я решил обратиться уже к устройствам безопасности и показать, в чём заключается специфика, особенность, своеобразие подобных устройств, если мы сравниваем их с механизмами дисциплины, о которых говорили раньше. Именно на оппозиции, или во всяком случае различии

безопасность/дисциплина, я и счёл необходимым остановиться. Сам по себе переход от дисциплинарное к безопасности имеет непосредственной целью — и целью, конечно, очевидной, явной — покончить с функционированием общества в режиме постоянно повторяющихся призывов повелителя, а также монотонной настойчивости власти. Он должен привести к состоянию без власти и повелителя: этой власти и этого повелителя, каким является Бог. Так вот, в первой лекции я попытался показать, как можно уяснить для себя различие между дисциплиной и безопасностью, сравнивая то, каким образом они упорядочивают, организуют пространственные распределения. В прошлый раз я поставил перед собой задачу продемонстрировать различие дисциплины и безопасности в плане специфических для них подходов к тому, что можно назвать событием. А сегодня я надеюсь показать вам — но кратко, поскольку мне всё же хотелось бы побыстрее перейти к сути проблемы, а в определённом смысле и завершить разговор о ней, — в чём заключается разница дисциплины и безопасности в связи с разницей в их отношении к феномену, который уместно именовать нормализацией.

Слово «нормализация» нередко употребляют совершенно некстати, и вам это известно лучше, чем мне. Что в таком случае не является нормализацией? Я нормализую, ты нормализуешь и так далее. И тем не менее давайте попробуем во всём этом разобраться. Прежде всего, те, кто решил подойти к проблеме нормализации достаточно серьёзно и потому взял на себя труд перечитать Кельзена, [1] знают: Кельзен утверждал, доказывал, стремился продемонстрировать, что закон и норма находятся и не могут не находиться в существенной связи друг с другом, что любая система законов обращена к системе норм. И подчёркивать связь законов с нормами действительно необходимо, ибо она свидетельствует об особом качестве всякого закона, поскольку он является императивом, — качеством, которое, по-видимому, целесообразно именовать его нормативностью. Но данная характерная для законов и, вероятно, определяющая их существо нормативность и то, о чём мы будем здесь рассуждать в терминах процедур, приёмов, техник нормализации, — это, с моей точки зрения, вещи различные. Я бы, пожалуй, сказал даже так: да, закон обращён к норме, он, стало быть, призван — и тут мы имеем дело с его главной функцией — норму кодифицировать, подвергать акту кодификации, однако нас будет интересовать нечто совсем иное. Нас будут интересовать техники нормализации — техники, которые развиваются вместе с системой закона, в её недрах и в пределах предоставляемых ей возможностей, но в направлении, по всей видимости, противоположном направлению развития этой системы.

Обратимся теперь к дисциплине. То, что она производит нормализацию, — это, на мой взгляд, очевидно, это вряд ли может вызвать какое-либо сомнение. Однако в чём же заключается, в чём же состоит специфика дисциплинарной нормализации? Я прошу у вас прощения, но здесь мне придётся, правда, лишь схематично, в самых общих чертах, указать на то, о чём мы с вами говорили уже много раз. Прежде всего дисциплина, разумеется, расчленяет: она разделяет индивидов, осуществляет дробление пространства и времени, делит на части действия, процедуры и операции. И в итоге она приходит к элементам, с одной стороны, достаточно различимым, а с другой — доступным для модификации. Как вы догадались, речь идёт о знаменитой дисциплинарной разбивке, которая предполагает выделение простейших объектов наблюдения и преобразования. Во-вторых, полученные элементы дисциплинарность оценивает с точки зрения того, насколько они полезны при

достижении той или иной цели. Дисциплине, к примеру, важно определить, какие действия будут наиболее подходящими для заряжающего своё ружье солдата и из какого положения ему лучше всего вести стрельбу по противнику. Ей необходимо также выяснить и то, благодаря каким качествам в состоянии добиться некоторого результата рабочий на фабрике, ребёнок в школе и так далее. В-третьих, дисциплинарность устанавливает оптимальные последовательности и координации. Теперь перед ней возникают вопросы несколько иного рода: как связать в одно целое различные операции, как расставить войска для реализации того или иного маневра, каким образом распределить преподаваемый материал по этапам обучения школьников и по стадиям обучения на каждом из них?

В-четвёртых, дисциплинарность определяет принципы функционирования постоянно совершенствуемой и контролируемой социальной реальности и исходя из них решает, что в обществе нуждается в изменении. Но это означает только одно: разделение на нормальное и аномальное вводится ей именно на основе такого рода принципов. Поскольку нормальным является не что иное, как согласующееся с нормой, а аномальным — с ней не согласующееся, дисциплинарная нормализация всегда конструирует модель максимально ориентированной на достижение определённого результата структуры и стремится к тому, чтобы характеристики людей и осуществляемых ими действий и операций удовлетворяли требованиям данной модели. В качестве основного и первоначального при дисциплинарной нормализации, следовательно, выступает не оппозиция нормального и аномального, а как раз норма: определить и зафиксировать нормальное и аномальное можно лишь отталкиваясь от предписаний уже установленной нормативности. И имея в виду эту первичность нормы по отношению к нормальному, то обстоятельство, что разделение на нормальное и аномальное в рамках дисциплинарной нормализации исходит из нормативности, при описании происходящего в пространстве дисциплинарных техник, на мой взгляд, предпочтительнее пользоваться термином не «нормализация», а «нормация» (В оригинале использовано слово *normcition*. Казалось бы, *normcition* можно перевести как «нормирование», однако «нормирование» в русском языке делает акцент на норме в смысле установленной меры, тогда как для Фуко, судя по всему, важна также и норма в смысле образца. — Прим. пер.). Я надеюсь, вы простите мне этот варваризм: я вынужден прибегнуть к нему, чтобы подчеркнуть, что определяющей здесь является именно норма. (*Normcition* во французском языке — это, действительно, варваризм. Безусловно, варваризмом является и «нормация» в русском. Данное обстоятельство, по-видимому, может служить дополнительным аргументом в пользу перевода *normation* не как «нормирование», а именно как «нормация»: такой перевод позволяет с самого начала указать на проблему терминологии, с которой столкнулся Фуко. — Прим. пер.)

А теперь возьмём ту совокупность устройств, которую я обозначил термином «устройства безопасности» — термином, конечно, не вполне удовлетворительным, вследствие чего к нему необходимо будет вернуться. Как обстоит дело с нормализацией в данном случае? Каким образом она осуществляется? Ранее я рассматривал пример города, затем голода; на сей раз, продолжая эту серию, воспользуюсь примером эпидемии, а именно эпидемии такого эндемо-эпидемического заболевания, каким в XVIII веке была оспа. [2] Проблема оспы стояла тогда, разумеется, очень остро, и прежде всего потому, что данная болезнь являлась, безусловно, наиболее распространённой из всех известных в то время болезней: достаточно сказать, что ей заражались две трети новорождённых, а для населения в целом

коэффициент [смертности] (У Фуко — «заболеваемости». — Прим. ред.) от оспы составлял 1 к 7.782, почти к 8. Здесь, следовательно, мы имеем дело с феноменом эндемии, оборачивающейся чрезвычайно высокой смертностью. Во-вторых, для этой болезни были характерны очень сильные и весьма интенсивные эпидемические вспышки. Так, в Лондоне в конце XVII — начале XVIII века страшные эпидемии оспы повторялись приблизительно через каждые пять-шесть лет. В-третьих, случай оспы, очевидно, особенно показателен, поскольку борьба с ней привела к появлению совершенно новых для медицинской практики того времени техник — начиная с 1720 года используют то, что носит название инокуляции или вариолизации, [3] а с 1800 года прибегают к вакцинации. [4] Эти техники обладают четырьмя отличительными чертами: прежде всего они абсолютно превентивны; далее, они гарантируют почти полный успех; кроме того, их применение позволяет властям, причём, в сущности, без серьёзных материальных, экономических затрат, охватить медицинскими мероприятиями все население; наконец, что весьма важно и составляет ещё одну их сильную сторону, вариолизация, а затем и вакцинация возникают вне всякой связи с какой бы то ни было медицинской теорией.

В самом деле, с точки зрения медицинской рациональности той эпохи положительные результаты практики вариолизации и вакцинации были чем-то совершенно невысказанным. [5] Длительное время эта практика основывалась исключительно на опыте, [6] развёртывалась в рамках чистого эмпиризма, и положение, вообще говоря, изменилось только к середине XIX века, когда Пастеру удалось дать ей теоретическое объяснение.

Итак, здесь мы сталкиваемся с техниками, которые могут применяться в масштабах всей страны, техниками надёжными и превентивными и в то же время совершенно не поддающимися осмыслению с позиции медицинской теории. Чем же оборачивалось использование этих чисто эмпирических по-своему характеру методов, к каким последствиям оно приводило в плане того, что, по-видимому, имеет смысл называть медицинской полицией? [7] На мой взгляд, сначала вариолизация, а затем вакцинация нашли себе место в реальной практике управления обществом и стали оказывать действительное влияние на образ жизни населения стран Западной Европы в силу двух обстоятельств. Во-первых, поскольку и та, и другая были ориентированы на большую массу людей, связанные с данными процедурами процессы, разумеется, допускали описание в рамках теории вероятности, располагавшей соответствующим статистическим инструментарием. [8]

И в определённой степени утверждение вариолизации и вакцинации в обществе стало возможным именно благодаря математике. Здесь нет ничего удивительного: как раз она к тому времени выступала своеобразным фактором интеграции процессов в сферы рациональности, приемлемые для социума и вписывающиеся в его структуру. Во-вторых, ещё одним обстоятельством, способствующим вступлению, вхождение данных процедур в пространство принимаемой обществом медицинской практики — и это несмотря на их странность, непонятность с точки зрения теории, — явилось, по-моему, то, что механизмы вариолизации и вакцинации были как минимум аналогичными, по целому ряду параметров весьма близкими другим, уже рассмотренным нами, механизмам безопасности и потому составляли с ними единое целое.

Что кажется мне по-настоящему важным, весьма характерным для механизмов безопасности в случае с голодом? По сути дела, следующее. Если до середины XVIII века, в период господства юридическо-дисциплинарной регламентации общественной жизни, власти пытаются противостоять ему напрямую, то начиная с середины XVIII столетия, при активном участии физиократов, а также немалого числа других экономистов, чтобы справиться с ним, они стремятся использовать не что иное, как количественную осцилляцию, которая оборачивается то избытком, то нехваткой продовольствия на рынке. Теперь они, иными словами, рассматривают голод в качестве элемента реальности и, избегая прямой конфронтации с ним, стараются подтолкнуть его к такому взаимодействию с другими элементами действительности, при котором он так или иначе аннулируется сам собой. И вот вариолизация демонстрирует кое-что весьма примечательное: она не просто не вступает с оспой в непосредственную конфронтацию, а, наоборот — причём в гораздо большей степени и с большей определённой, чем вакцинация, — провоцирует у индивидов то, что, в сущности, является оспой, но делает это таким образом, чтобы начавшиеся в организме процессы обеспечили быстрое устранение заражения.

Спровоцированная вариолизацией лёгкая болезнь, следовательно, не в состоянии достичь той стадии, на которой она превращается в губительную для человека. И именно благодаря такого рода первой, искусственно вызванной, маленькой болезни власти и получают шанс предотвращать возможные вспышки оспы в будущем. Но всё это свидетельствует только об одном: характер функционирования вариолизации и вакцинации в своей основе совпадает с характером функционирования тех устройств безопасности, которые заявляют о себе в ситуации с голодом. Итак, получается, что и вариолизация, и вакцинация обладают свойствами, позволявшими им с успехом интегрироваться, с одной стороны, в область множества технологий безопасности, а с другой — в пространство рационализации случая и вероятности, иными словами, в две наиболее важные сферы социума. Этим, на мой взгляд, и объясняется то, почему данные процедуры оказались вполне приемлемыми для общества: если и не для теоретиков медицины, то во всяком случае для практикующих врачей, для представителей администрации, для тех, на кого были возложены определённые функции в системе медицинской полиции, в конце концов, для массы простых людей, которые соответствующему медицинскому воздействию подвергались.

И вместе с тем в практике этого типа, как я полагаю, обнаруживается и нечто весьма важное с точки зрения последующего распространения устройств безопасности. Во-первых, что мы видим, обращаясь к технике инокуляции, к организации наблюдения за людьми, которые подверглись прививке, к процедурам определения того, стоит или не стоит проводить инокуляцию в сложившейся ситуации, к принципам расчёта возможного уровня смертности населения в том и другом случае? С чем мы сталкиваемся, обращаясь ко всему этому? Прежде всего с тем, что мышление здесь перестаёт ориентироваться на категорию «преобладающая болезнь» [9] — категорию, игравшую ключевую роль в теории и практике медицины того времени. О преобладающей болезни говорили не только в XVII, но и в XVIII веке, и характеризовали её если угодно, как фундаментальное заболевание, то есть заболевание, наиболее серьёзное для страны, региона, города, той или иной социальной группы и напрямую связанное с особенностями климата и образа жизни людей. И именно эту тесную, неразрывную связь заболевания с той или иной местностью, с условиями жизнедеятельности людей и предполагает понятие преобладающей болезни.

Однако когда в борьбе с оспой начинают прибегать к процедурам количественного анализа вероятности успеха и неуспеха, удачи и неудачи проводимых мероприятий, когда начинают рассчитывать вероятность смерти или заражения после инокуляции, восприятие болезни существенно меняется: теперь она предстаёт уже не в качестве непосредственно связанного с некой местностью, неким регионом заболевания, а в качестве недуга, который даёт о себе знать в режиме его имеющего пространственно-временное измерение случайного распределения среди населения. Здесь, стало быть, мышление приходит к категории случая, но случая не как чего-то единичного, а как формы индивидуализации коллективного (Существительное «индивидуализация» в данном контексте имеет у Фуко смысл дифференциации коллективности на элементы-индивиды. — Прим. пер.) или, что, в сущности, то же самое, коллективизации — посредством квантификации, наделения количественной определённостью — индивидуального, включения индивидуальных феноменов в состав той или иной коллективности.

Итак, первое, на что я хотел сейчас указать, — это появление понятия случая. Во-вторых, мы видим следующее: поскольку при таком подходе болезнь обнаруживается сразу и на уровне группы, и на уровне отдельных индивидов, в рамках анализа её случайных распределений оказывается возможным применительно и к тому и к другому определить, каким будет для людей риск заразиться, скажем, ветряной оспой и умереть от данного заболевания, если их организму не удастся с ним справиться. Учитывая то, сколько им лет, и то, где они проживают, можно определить степень риска заражения и смерти для отдельных людей; но аналогичным образом степень этого риска можно установить и для любой возрастной или профессиональной группы, для населения того или иного города. Здесь, поскольку речь зашла о возрастных группах, я хочу отослать вас к работе Дювийяра, которая была опубликована в самом начале XIX века и которая носит название «Анализ воздействия ветряной оспы». [10] Она подводит своего рода итог соответствующим исследованиям. В ней, обобщив накопленные на протяжении XVIII столетия статистические данные, Дювийяр приходит к выводу, что риск заразиться оспой для новорождённого выражается соотношением 2 к 3. И если человек заболевает оспой, исследователи в состоянии определить степень риска его смерти от данной болезни с учётом его возраста, то есть его молодости или старости, профессии, условий жизни и так далее. Аналогичному анализу, разумеется, поддаются и последствия прививок: вполне можно установить, каким является для людей риск того, что оспа будет вызвана у них самими процедурами вариолизации или вакцинации, или того, что прививки не защитят их от заражения этой болезнью в последующем. Итак, здесь мы имеем дело с ещё одним ключевым новым понятием — понятием риска.

В-третьих, при анализе величины того или иного риска достаточно быстро обнаруживается, что для различных по возрасту, социальному положению, сфере деятельности, местожительству индивидов она является отнюдь не одинаковой. Следовательно, в обществе есть своего рода зоны, где уровень данного риска весьма высок, и зоны, где он, напротив, относительно низок, незначителен. Но тогда можно указать на то, что опасно, и на то, что опасно в большей, а что в меньшей степени. Так, в ситуации с оспой опасен возраст до трёх лет, жизнь в городе опаснее жизни в деревне и так далее. Таким образом, третьим после категорий случая и риска возникающим в это время наиболее важным понятием оказывается понятие опасности.

И, наконец, аналитики получают возможность сделать то, чего нельзя было сделать посредством общей категории эпидемии, а именно выделить специфический процесс форсированного распространения болезни, процесс, в рамках которого всякое сколько-нибудь существенное увеличение случаев заболевания в каком-то регионе в данный период времени оборачивается — разумеется, в режиме заражения населения — гораздо более существенным увеличением их числа в период последующий; и этот лавинообразный процесс будет прогрессировать до тех пор, пока не приступит к своей работе некий искусственный или естественный, но скрытый эффективный механизм, способный вызвать его торможение. Однако выделение такого рода сначала прогрессирующих, а затем регрессирующих процессов, каким является ускоренное распространение болезни, знаменует собой первый шаг в осмыслении феномена, который в итоге станут называть кризисом, употребляя это слово в значении, не совпадающем с тем, что ранее было закреплено за ним в медицине. Кризис и есть данный феномен восходящего и нисходящего форсированного развития — развития, вторая, нисходящая, стадия которого имеет место исключительно постольку, поскольку оно начинает сдерживаться более мощными естественными или специально организованными процессами.

Случай, риск, опасность и кризис — это, на мой взгляд, действительно новые понятия, по крайней мере если иметь в виду область их применения и целый ряд связанных с ними технических процедур, ибо здесь мы сталкиваемся с активностью, существенно отличающейся от той, что была характерна для прежних техник в рамках их ориентации на лечение людей с признаками заболевания и исключение контактов больных со здоровыми. В самом деле, какую цель преследовала работа дисциплинарной системы, её механизмов в ситуации с эпидемиями или такими эндемическими заболеваниями, как проказа? Прежде всего вернуть здоровье больному, вернуть его, насколько это возможно, всякому человеку, у которого обнаружена болезнь, и, кроме того, предотвратить распространение болезни, изолировав заразившихся. Функционирование дисциплинарных механизмов, таким образом, основывается на принципе разделения людей на тех, кто болен, и тех, кто не болен. А работа устройств безопасности — что говорят о ней процедуры вариолизации и вакцинации? То, что в её границах данный принцип уже не действует.

В сущности, вариолизация и вакцинация свидетельствуют о следующем: в рамках системы безопасности люди, наоборот, рассматриваются в качестве совокупности сравнительно однородных индивидов, без разделения их на больных и здоровых, иными словами, просто как население, и в отношении такого рода населения определяется вероятный уровень заболеваемости или смертности, иными словами, тот уровень заболеваемости или смертности индивидов, который обычно, в норме имеет место при какой-то болезни. Как раз в этой связи и было установлено — причём данные различных проведённых в XVIII веке статистических исследований тут оказались тождественными, — что нормальный показатель смертности населения от ветряной оспы равен 1 к 7.782. Здесь, следовательно, заявляет о себе идея нормальной заболеваемости и смертности. Это первое.

Второе же заключается в том, что наряду с, так сказать, обычной, считающейся нормальной заболеваемостью и смертностью населения в целом при дальнейшем анализе выделяют и нормальную заболеваемость и смертность его отдельных категорий. В ситуации с ветряной оспой устанавливают, к примеру, динамику нормального (В рукописи (р. 7) «нормальной

«заключеновкавычки». В рукописи (р. 7) «нормального» дано в кавычках. — Прим. ред.) распределения случаев заболевания и смерти для различных возрастных и профессиональных групп, для различных регионов, городов и городских кварталов и так далее. Но, собственно, с какой целью проводят такого рода исследование? С целью определить наиболее неблагополучные с медицинской точки зрения категории населения, а затем попытаться привести характерную для них динамику болезни в соответствие с общей, нормальной для страны динамикой. Так, когда обнаружилось — а обнаружилось это очень рано, — что быстрее всего, чаще всего и опаснее всего оспа поражает детей в возрасте до трёх лет, власти поставили перед собой задачу снизить уровень связанной с ней детской заболеваемости и смертности до среднего по стране уровня. И решение данной задачи в свою очередь позволило снизить показатель заболеваемости и смертности для населения в целом. Так что здесь, в связи с проблематикой взаимоотношения различных форм нормального схождения и расхождения разнообразных статистических кривых, мы сталкиваемся не с эпидемиологией, не с медициной эпидемий, а с профилактической медицинской теорией и практикой.

Итак, перед нами система, которая, по-видимому, полностью противоположна системе дисциплинарности. Дисциплинарность исходила из введения нормы, и разделение нормального и анормального она могла осуществить, только отталкиваясь от установленной нормативности. Теперь же фиксация нормального и анормального, фиксация различных статистических кривых нормальности оказывается первичной, и именно она создаёт условия для нормализации — операции, в рамках которой, располагаясь в пространстве разного рода распределений нормальности, стремятся добиться того, чтобы наиболее неудовлетворительные из них сблизилась и совпали с наиболее предпочтительными. Теперь, следовательно, мы имеем дело с системой, основывающейся на нормальном и ставящей во главу угла те его распределения, которые она расценивает как, если угодно, более нормальные, во всяком случае более желательные, чем другие. И как раз эти распределения выступают в качестве нормы. Норма, стало быть, заявляет о себе в сфере различающихся нормальностей. (Здесь М. Фуко повторяет: «и операция нормализации предполагает, что мы размещаемся в поле различных распределений нормальности и корректируем их взаимоотношения». — Прим. ред.) Именно так: норма выводится из нормального или, что то же самое, она фиксируется и начинает работать только после того, как проанализировано многообразие форм нормальности. И тут, я думаю, речь нужно вести уже не о нормации, а о нормализации в строгом смысле этого слова.

Таким образом, две недели назад я обратился к примеру города, неделю назад — голода, а сегодня — эпидемии. Можно сказать и так: мы взяли примеры феноменов улицы, зерна и инфекции. Разумеется, нельзя не заметить, что между этими тремя феноменами существует тесная, неразрывная связь, ибо все они характеризуют городскую жизнь и, в сущности, имеют непосредственное отношение к первой из проблем, которую я пытался обрисовать. В самом деле, вопрос голода и зерна — это прежде всего вопрос города как рынка, проблематика инфекции и эпидемических болезней — это прежде всего проблематика города как очага заболеваний. С другой стороны, как раз город в качестве рынка является местом голодных бунтов и как раз город в качестве очага заболеваний представляет собой пространство миазмов и смерти. Так что рассмотренные нами примеры механизмов безопасности, очевидно, напрямую касаются именно города. И если к середине XVIII века в

Европе появляются элементы очень сложной технологии безопасности, то это, на мой взгляд, происходит постольку, поскольку данная технология была крайне необходима для решения новых и весьма специфических проблем городской жизни как в сфере экономики и политики, так и в области методов управления населением.

В данной связи, не вдаваясь в детали, хотя они и немаловажны, напомним об особом положении города в рамках той сугубо территориальной, основанной на территориальном господстве и исходящей из него властной системы, которую установил феодализм. Так вот, город в неё, в сущности, никогда не вписывался, ибо, помимо всего прочего, обладал статусом вольного поселения, а потому имел возможность — за ним признавалось это право — в определённой степени, определённой мере, в достаточно чётко обозначенных границах существовать и развиваться в режиме самоуправления. Но в таком случае городская жизнь неизбежно оказывалась в некотором роде относительно независимой от ключевых территориальных институтов и механизмов власти, типичных для феодальной эпохи. И я думаю, что центральная задача, которая встала перед правителями в период между XVII и началом XIX века, — не что иное, как задача интеграции городской жизни в пространство функционирования главных властных механизмов. Или, лучше сказать, здесь мы сталкиваемся с некой характерной для того времени инверсией, делающей проблему города более важной, нежели доминировавшая ранее проблема территории. И как раз в этих условиях и были приведены в действие новые властные механизмы, устройство которых я попытался описать, называя их механизмами безопасности. В сущности, в этот период возникла необходимость привести во взаимное соответствие два принципа: динамики городской жизни и функционирования законного суверенитета. Как обеспечить право суверенитета на управление городом? Добиться реализации данного права было не так-то просто: для этого требовалась целая серия социальных трансформаций; но рассказал вам о них я, конечно же, лишь в самых общих чертах.

Второе, что объединяет выделенные мной явления улицы, зерна и инфекции или, иначе, города, голода и эпидемии, второе, что объединяет эти, точнее говоря, проблемные для правителей феномены и на что я хотел бы сейчас обратить ваше внимание, — это характер вопросов, которые они ставят перед властью. По сути дела, все такого рода вопросы в той или иной степени касаются обращения. Обращения, понимаемого, разумеется, весьма широко: как перемещение, обмен, взаимодействие, как форма распространения, а также распределения. Ибо проблема, которая здесь возникает, оказывается следующей: нужно или не нужно допускать циркуляцию? В эпоху суверенитета правитель традиционно придерживался политики завоевания новых территорий и сохранения уже завоёванного. Учитывая данное обстоятельство, можно сказать, что перед ним в некотором смысле всё время стояла задача определения того, как избежать изменения сложившегося положения дел, как обеспечить продолжение проводимой политики. Каким образом завладеть территорией и закрепить её за собой, каким образом удержать её и каким образом расширить? — именно это больше всего волновало власть в тот период. Иными словами, главным являлось нечто, что можно было бы назвать гарантиями закрепления некой территории, сохранения власти над ней суверена. И именно на них сосредоточил своё внимание Макиавелли, отвечая на вопрос, как достичь того, чтобы владычество правителя на некоторой территории — причём неважно, завоевана она им или же получена по наследству», владеет он ей на законных основаниях или же незаконно — как достичь того,

чтобы это владычество стало незыблемым или по крайней мере вполне прочным.

Мне кажется, что политической проблемой суверенитета была как раз данная проблема гарантий территориальной власти государя. В этой связи, по-моему убеждению, полагать, будто Макиавелли является основоположником новоевропейской политической мысли, — значит допускать ошибку: его анализ обращён к устремлениям уже уходящей предшествующей эпохи, во всяком случае в нём в концентрированной форме выражена доминирующая именно в тот период установка на обеспечение власти верховного правителя над принадлежащими ему землями. Что же касается установки, с которой мы сталкиваемся в случае с выделенными мной феноменами — а ими формы её проявления, разумеется, не ограничиваются, — то она имеет совершенно иной характер. Здесь власть нацелена уже не на фиксацию и удержание территории, но на ликвидацию препятствий для обращения и на контроль над соотношением его положительной и отрицательной сторон: Всё должно находиться в постоянном движении, всё должно непрерывно перемещаться, всё должно переходить из одного пункта в другой, однако таким образом, чтобы возникающие при этом угрозы оказывались в конце концов аннулированными. Речь теперь, следовательно, идёт не о гарантиях господства государя над определённой территорией, но о безопасности населения, а значит, и тех, кто им управляет. Перед нами, стало быть, ещё одно — и, на мой взгляд, весьма важное — изменение в проблематике техники управления.

Выявленные механизмы имеют [и] третью общую черту. При всём различии между новыми методами градостроительства, способами предотвращения или по крайней мере сдерживания голода и приёмами предупреждения эпидемий их объединяет следующее: все они предназначены — во всяком случае, по своей сути — отнюдь не для обеспечения господства над устремлениями индивидов некой высшей воли, воли суверена, а для того, чтобы привести во взаимодействие не что иное, как элементы реальности. Иными словами, то, на что ориентированы механизмы безопасности, — это вовсе не сфера отношений «правитель — подданные», отношений тотального господства и сравнительно пассивного подчинения; нет, такого рода механизмы функционируют в пространстве процессов, которые физиократами рассматривались как «физические» и которые можно было бы назвать также и «естественными». Именно их я и имею в виду, когда говорю об элементах реальности. И при этом механизмы безопасности нацелены на устранение какой-то части из них, но не в режиме прямого запрета — здесь нет места ни формуле «ты не сделаешь это», ни даже формуле «этого не будет», — а в порядке аннулирования некой динамики самой данной динамикой. В сущности же, речь идёт об ограничении распространения тех! или иных явлений некоторыми пределами, допущении негативного в приемлемых масштабах, а не о введении запрета на, него посредством соответствующего закона. Механизмы безопасности, таким образом, обнаруживают себя отнюдь не в области отношений суверена и подданных и отнюдь не в форме запретов.

И, наконец, у всех этих устройств — и здесь, я думаю, мы подходим к самому главному, — у этих устройств есть ещё одна типичная черта, свидетельствующая об их существенном отличии от механизмов закона и дисциплины. И механизмы закона, и механизмы дисциплинарности, обеспечивая подчинение многообразия устремлений людей некой единой воле, функционируют в плане всеобъемлющего, непрерывного и максимального по

силе воздействия. И там, где они функционируют, мы имеем дело с действительно тотальной, не знающей исключений унификацией подданных. А устройства безопасности? На каком принципе основана их работа? На принципе, согласно которому управляющее воздействие должно ограничиваться пределами необходимого и достаточного. Но это значит, что данные устройства предполагают совсем иной уровень совместной жизни людей, а именно уровень населения — феномена, обладающего весьма специфическими характеристиками. Конечно, паноптическая система [12] как таковая оформилась только в период Нового времени, однако идея её зародилась гораздо раньше, в старую эпоху доминирования суверенитета, ибо никакой настоящий верховный правитель не мог не испытывать стремления занять некую центральную позицию, позицию всевидящего ока, всепроникающего взгляда, всеохватывающего надзора, которая позволяла бы ему определённым образом осуществлять своё господство над находящимися в его распоряжении индивидами. И в этом смысле паноптизм есть не что иное, как самая первая мечта самого первого суверена: должно быть так, чтобы из-под моего контроля не ускользнул ни один подданный, должно быть так, чтобы для меня не оставался неизвестным ни один его шаг.

Таким образом, верховный правитель всегда стремился обрести статус центра паноптической системы. Однако то, что мы обнаруживаем теперь, в ситуации с устройствами безопасности, — это реализация власти отнюдь не в форме тотального надзора за индивидами, надзора, который в идеале обеспечивал бы суверену постоянный контроль над любыми их действиями. Нет, теперь власть осуществляется посредством совокупности механизмов, необходимых для управления особыми, строго говоря, не обладающими индивидуальностью элементами, хотя в определённом смысле — и к этому вопросу в силу его большой важности надо будет вернуться, — хотя в определённом смысле индивиды здесь всё же имеют место, как имеют место и достаточно своеобразные процессы индивидуализации. В данном случае перед нами совсем иной тип взаимоотношений между коллективом и индивидами, целым и элементарными частями социального тела, и именно он даёт о себе знать в связи с тем, что именуется населением. А потому управление населением и характерные для суверенитета процедуры тщательного надзора за любыми индивидуальными действиями — это совершенно разные практики, практики, базирующиеся, как мне кажется, на двух в корне отличных друг от друга экономиях власти. А теперь мне хотелось бы начать анализ того, к чему мы подошли. С помощью примеров города, голода и эпидемии я попытался указать на новые, с моей точки зрения, механизмы рассматриваемой нами эпохи.

Так вот, благодаря такого рода примерам мы видим, что то, чем нужно заняться, — это, с одной стороны, совсем иная экономия власти, а с другой — и к данной теме я хотел бы сейчас обратиться — абсолютно новый, на мой взгляд, политический персонаж. Речь идёт о персонаже, которого не существовало, который до сих пор не давал о себе знать, не обнаруживался или, если угодно, не распознавался, но который в XVIII веке блистательно вышел на сцену и почти сразу же был замечен. Речь, иными словами, идёт о населении.

Конечно, касающиеся населения вопросы начали волновать интеллектуалов — причём не только представителей политической мысли в целом, но и разработчиков техник, приёмов управления — гораздо раньше. Если обратиться к весьма отдалённому времени и принять во

внимание, в частности, случаи употребления слова «население» в соответствующих текстах, [13] то можно сказать, что проблемой населения занимались уже тогда, и занимались в некотором отношении почти непрерывно. Однако смысл термина «население» определялся при этом в режиме противопоставления двух процессов: то, что называли населением, было прямой противоположностью депопуляции. Иначе говоря, под «населением» понималось перемещение людей, при котором мужчины и женщины вновь заселяли обезлюдившую перед тем территорию — обезлюдившую вследствие неких великих бедствий, будь то эпидемии, войны или голод, вследствие какого-то из этих трагических, с ужасающей стремительностью уносящих человеческие жизни событий. И как раз в связи с этими ставшими необитаемыми землями, в связи с этим вызванным серьёзными гуманитарными катастрофами опустошением территорий и возникала проблема населения.

Здесь, кстати, весьма показательна ситуация со знаменитыми таблицами смертности: как вам известно, необходимым условием возникновения в XVIII веке демографии стало то, что в ряде стран, и прежде всего в Англии, составляли таблицы смертности, которые позволяли давать ей количественную оценку и, кроме того, определять основные причины ухода людей из жизни. [14] Так вот, раньше к методу этих таблиц прибегали отнюдь не всегда, а когда прибегали, пользовались им в течение достаточно ограниченного промежутка времени. И в Англии, которая обратилась к данному методу первой, на протяжении XVI, а также, я думаю, хотя и не берусь на этом настаивать, начала XVII века — во всяком случае, на протяжении всего XVI столетия — таблицы смертности составлялись исключительно в периоды эпидемий и каких-то других бедствий, при которых масштабы гибели людей были столь значительными, что требовалось точно знать, где, по какой конкретной причине и в каком количестве они, эти люди, умирали. [15]

Иными словами, термин «население» в данный период отнюдь не имеет позитивного и достаточно общего характера: проблема населения оказывается здесь тождественной проблеме повторного заселения территории и рассматривается в контексте проблематики чрезвычайно высокого уровня смертности. Точно так же отнюдь не в середине XVIII века, которая стала для нас своеобразной точкой отсчёта, а значительно раньше начали рассматривать население и как некую ценность. Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать весьма старые тексты авторов хроник, историков и путешественников: в них оно всегда предстаёт не иначе, как в качестве одного из факторов, одного из элементов, определяющих могущество суверена. В данном качестве оно выступает наряду с территорией, ибо влиятельный суверен, конечно же, должен иметь в своём распоряжении обширные земли, и богатством, ибо сила властителя, разумеется, не может не измеряться, не оцениваться также и величиной его казны. Размер территории, величина казны и население — таковы факторы могущества верховной власти, причём славу суверену многочисленное население приносит тогда, когда налицо три вещи: когда большое количество крестьян располагает тучными стадами, когда в стране процветают крупные города и когда, наконец, огромные массы людей заполняют рыночные площади. Но для верховной власти важно также, чтобы такого рода население отличалось, с одной стороны, покорностью, а с другой — усердием, трудолюбием и активностью: только при данных дополнительных условиях суверен будет, во-первых, действительно могущественным, ибо народ подчиняется его власти, а во-вторых — богатым. Однако и эта трактовка населения не выходит за рамки его традиционного восприятия.

Меняться положение дел начинает в XVII веке, в эпоху, которую мы с вами обозначили как период подъёма камерализма [16] и меркантилизма, [17] (В рукописи (р. 11) у М. Фуко здесь вопрос: «Брать их вместе?» — Прим. ред.) рассматривая их не столько в качестве экономических доктрин, сколько в качестве новых подходов к вопросам управления. И в случае необходимости мы будем к ним возвращаться. Так вот, по крайней мере для меркантилистов XVII столетия население — это не просто образование, способное символизировать величие суверена, но составляющая, более того, базовая составляющая системы обеспечения могущества государства и верховного правителя. Население — именно основной элемент данной системы, элемент, определяющий все остальные. Почему? Прежде всего, потому, что оно является поставщиком рабочих рук для сельского хозяйства, а значит, его рост гарантирует изобилие доступного для людей продовольствия, ибо чем больше земледельцев, тем больше обрабатываемых земель, тем обильнее урожай и тем ниже цены на зерно и другие сельскохозяйственные продукты. Население, далее, выступает поставщиком рабочих рук и для мануфактур, развитие которых в свою очередь позволяет властям, насколько это возможно, обходиться без импорта, без ввоза в страну того, что нужно было бы покупать за твёрдую валюту, золото или серебро, за рубежом. И, [наконец], население представляет собой основной элемент обеспечения государственной мощи постольку, поскольку его увеличение ведёт к росту конкуренции на внутреннем рынке рабочей силы, вследствие чего у предпринимателей, разумеется, появляется шанс нанимать рабочих за сравнительно низкую заработную плату. Но относительно низкая заработная плата оборачивается относительно низкой ценой производимых товаров и высокой доходностью их экспорта, что не может не служить ещё одним фактором, гарантирующим величие государства.

Вместе с тем для того, чтобы население было основой богатства и могущества государства, чтобы оно было в состоянии выполнять эту функцию, его жизнь, конечно же, должна находиться под контролем особого аппарата регулирования, который оказывает противодействие эмиграции, способствует притоку в страну иммигрантов, создаёт условия для повышения рождаемости; который нацелен на поддержку необходимых, в том числе и ориентированных на экспорт, отраслей промышленности и сельского хозяйства; который определяет ассортимент производимой продукции, средства её производства и уровень заработной платы наёмных работников; который, наконец, призван заставить трудиться бездельников и бродяг. Речь, короче говоря, идёт об аппарате, который занимается населением именно как основанием или, если угодно, началом могущества и богатства государственности и который следит за тем, чтобы оно работало как надо, где надо и производило то, что надо. В сущности, то, на чём сконцентрировал своё внимание меркантилизм, — это население как производительная сила в строгом смысле слова, и, на мой взгляд, в данном качестве его со всей серьёзностью начали анализировать как раз в XVII, а не в XVIII и уж никак не в XIX столетии. В данном качестве оно стало наиболее важной темой исследования меркантилистов или камералистов, которые, разумеется, настаивали на его эффективном обучении, размещении и распределении в режиме, предполагаемом дисциплинарными механизмами.

Понятия населения, основы богатства, производительной силы, дисциплинарной организации — в рамках меркантилистской теории, меркантилистского проекта и меркантилистской практики эти понятия составляют единое целое. Но начиная с XVIII века,

в период, который является для нас ключевым, положение дел, по-видимому, снова меняется. Согласно распространённой точке зрения, в отличие от предшествовавших им меркантилистов физиократы ориентировались на антипопуляционизм, [18] ибо если меркантилисты, поскольку население для них было основным источником государственного богатства и государственной мощи, однозначно выступали за увеличение числа жителей страны, то физиократы занимали в этом вопросе гораздо более сдержанную позицию. На мой взгляд, однако, расхождение в оценке фактора прироста населения здесь не главное: мне кажется, что от меркантилистов или камералистов физиократы отличались в первую очередь самим существом своего подхода к населению. [19] А имей я в виду следующее. Когда меркантилисты и камералисты рассуждали о населении, когда они говорили, что оно, с одной стороны, является основой богатства, а с другой — должно находиться под контролем системы регламентации, они всё ещё рассматривали его лишь как совокупность подданных суверена, людей, которым совершенно произвольным образом можно навязывать свыше определённый набор законов и предписаний, диктующих им, что, где и как они должны делать.

Иными словами, меркантилистами население рассматривалось, по существу, сквозь призму проблематики взаимоотношения подчинённых и верховного правителя. И именно на эту сферу наделяемых некими правами подданных, подданных, подчиняющихся закону, подданных, испытывающих на себе регламентирующее воздействие, — именно на это пространство подчинения воли людей воле верховного правителя и ориентирован проект меркантилизма, камерализма или, если хотите, кольбертизма. Однако для физиократов, для экономистов XVIII века в целом население, на мой взгляд, выступает уже отнюдь не в качестве наделённых определёнными правами людей, отнюдь не в качестве тех, кому надлежит подчиняться воле суверена, выражаемой посредством предписаний, законов или эдиктов. Нет, физиократы подходят к населению как к динамическому образованию, которым нужно управлять, учитывая его естественное начало и отталкиваясь от такового.

Но о какой естественности (В рукописи (р. 13) «естественности» заключено в кавычки. — Прим. ред.) населения идёт речь? Почему, обратившись к ней, население осмысляют уже не через призму юридически-политического концепта подданства, а в границах технико-политического понятия объекта руководства и управления? Что это за естественность? Чтобы максимально сэкономить время, я остановлюсь лишь на трёх формах её проявления. Во-первых, население, каким оно заявляет о себе в рамках теории, а [также] практики управления XVIII века, — это не просто сумма проживающих на определённой территории индивидов. И как феномен оно существует не только потому, что людям свойственно стремление к продолжению рода. И это также не взирая суверена, обладающего властью расширять или, наоборот, ограничивать свободу своих подданных. В сущности, население не есть некая простая данность: оно находится в зависимости от целого ряда факторов. Жизнь населения определяется характером климата. Она меняется с изменением природной среды. На ней сказываются особенности процессов, происходящих в торговле и области обращения богатств.

Безусловно, эта жизнь становится другой, когда вводится новое законодательство, будь то законы о налогах или законы о браке. Она зависит также от характера обычаев, например от того, каким образом получает приданое невеста, как обеспечиваются права

первородства, права старшего по рождению из братьев, каким образом растят детей, кому доверяют их воспитание. Жизнь населения определяется особенностями нравственных и религиозных ценностей, ориентация на которые считается необходимой для той или иной категории людей: взять, к примеру, значение безбрачия для священнослужителей или монахов. Она, разумеется, находится и в весьма существенной зависимости от положения дел с продуктами питания, и здесь нельзя не вспомнить Мирабо с его знаменитым заявлением, что численность населения никогда не выйдет и ни в коем случае не может выйти за пределы, положенные величиной продовольствия. [20] Все соответствующие исследования, будь то размышления Мирабо, аббата Пьера Жобера [21] или Кенэ в его статье «Население» для «Энциклопедии», [22] — все они с очевидностью демонстрируют одно: население для мыслителей того времени — это отнюдь не визави суверена, отнюдь не некая примитивная данность, материал, на который направлена активность верховного правителя.

Жизнь населения представляет собой нечто, зависящее от целой серии факторов, а значит, влияние на неё суверена не может быть безусловным или, что то же самое, составляющие население индивиды не могут быть всего лишь подчиняющимися или, наоборот, отказывающимися от подчинения, послушными или, напротив, взбунтовавшимися подданными. Речь, в сущности, идёт о том, что от прямого воздействия выраженной в законах воли верховного правителя жизнь населения, в силу сложности её динамики, в значительной степени ускользает. И когда от населения требуют «сделай это!», совсем не исключено, что оно не сделает этого просто из-за отсутствия соответствующих условий. Если ограничиться отношением «суверен — подданные» как таковым, то представленная в форме закона воля верховного правителя не реализуется постольку, поскольку наталкивается на неповиновение подданных, на «нет», брошенное ими в лицо этому правителю; но если взять отношение «власть — население», то принятое сувереном или правительством решение может быть неосуществимым и тогда, когда люди, жизнь которых оно призвано изменить, сами по себе не оказывают ему никакого сопротивления.

Демонстрируя в связи с легалистским волюнтаризмом суверена своеобразную плотность, население, таким образом, выступает в качестве некоего естественного феномена. Феномена, с которым нельзя обращаться как заблагорассудится, из чего, однако не следует, будто он абсолютно непостижим и не восприимчив ни к какому регулирующему воздействию. Как раз наоборот, и самый главный вывод физиократов и экономистов заключается именно в том, что характерная для населения естественность отнюдь не исключает его постоянной целенаправленной трансформации: важно лишь, чтобы те, кто её осуществляет, были достаточно просвещёнными и аналитически мыслящими людьми, а техники, к которым они прибегают, — вполне продуманными и рациональными. Но ориентировать нужно, конечно, не только на волевое изменение наносящего ущерб населению законодательства. Если власть ставит во главу угла заботу о населении, если она собирается подчинить этой цели ресурсы и возможности государства, она должна в первую очередь воздействовать на целую совокупность факторов, элементов общественной жизни, которые, казалось бы, существенным образом на жизнь населения как таковую, на само его поведение, на его численность и репродуктивную способность отнюдь не влияют.

Необходимо, к примеру, оказывать воздействие на идущие в страну денежные потоки, а следовательно, знать, по каким конкретно каналам поступают денежные средства, доходят ли они до всех категорий населения, насколько целесообразно распределяются по регионам. Нужно воздействовать на экспорт: чем большим будет спрос на экспортируемые товары, тем более благополучной станет жизнь наёмных работников и предпринимателей, а значит, и населения в целом. Однако как быть с импортом: как скажется на населении импорт, например, продуктов питания? С одной стороны, разрешая их ввоз из-за границы, власти лишают местных жителей работы, но, с другой — они ликвидируют существующий в стране дефицит продовольствия. И проблема регулирования импорта, действительно, являлась очень важной для Европы XVIII века. Как бы то ни было, но именно принимая во внимание все эти внешне не относящиеся к делу факторы, обеспечивая их взаимодействие, а значит, и специфическое функционирование, власти и получали возможность эффективного влияния на жизнь населения. Здесь, следовательно, заявляет о себе совершенно другая техника: техника, ориентированная не на подчинение подданных воле верховного правителя, а на работу с особым рода элементами социальной действительности. Данные элементы лишь на первый взгляд кажутся не имеющими отношения к населению, однако их анализ и рациональное осмысление свидетельствуют, что как раз они-то и определяют основные параметры его существования. И именно обнаружение этой открытой для регулирующего воздействия естественности населения и привело, на мой взгляд, к радикальной реорганизации и рационализации методов власти.

Во-вторых, естественность населения, по-видимому, даёт о себе знать в связи с тем, что оно, это население, помимо всего прочего, разумеется, состоит из индивидов — индивидов, которые весьма отличны друг от друга и поведение которых, во всяком случае в определённых границах, оказывается достаточно непредсказуемым. И тем не менее, с точки зрения приступивших к анализу населения теоретиков XVIII столетия, различных индивидов объединяет по крайней мере одно: всех их побуждает к действию единственная причина, обуславливающая в итоге и поведение населения в целом. Эта побудительная причина — не что иное, как желание. Раньше понятие желания использовали при исследовании сознания (возможно, к данному сюжету мы ещё вернёмся), [23] и вот теперь к нему обратились снова, но уже в рамках разработки техник власти и управления. Желание есть то, что заставляет действовать любого индивида. И с этой силой бесполезно бороться. Вы, говорил Кенэ, не можете помешать людям селиться там, где, как они считают, жить более выгодно и где они желают жить, ибо желают этой выгоды. И не пытайтесь их изменить — они не изменятся. [24] Но как раз постольку, поскольку естественность желания соответствующим образом определяет жизнь населения и одновременно делает её открытой регулирующему воздействию, — как раз постольку динамика этого желания, согласно одному из ключевых положений теоретиков, к которому надо было бы вернуться, оказывается способной породить нечто чрезвычайно важное.

Речь идёт о следующем: если исключить её подавление, если предоставить ей определённую свободу, то она, развёртываясь в режиме взаимовлияния и сцепления её составляющих, будет осуществлять формирование интересов населения как целого. Для индивида желание — это стремление к объекту его интереса. И индивид, охваченный такого рода стремлением, между прочим, нередко абсолютно заблуждается в том, что касается его личной выгоды. В данном же случае имеется в виду то, что спонтанная или, точнее говоря,

спонтанная и вместе с тем регулируемая динамика желания позволяет сформировать интерес именно населения как такового, и она позволяет направить это население к его действительной выгоде. Пространство формирования коллективного интереса через динамику желания — это пространство, где заявляют о себе сразу, и естественность населения, и совместимая с ней искусственность средств, которые используются для управления его жизнью.

Отмеченное нами весьма важно, ибо, как видите, в ситуации с идеей управления населением, исходя из естественности желания людей и спонтанного формирования коллективного интереса посредством динамики желания, — в данной ситуации мы сталкиваемся с тем, что совершенно противоположно старой этико-юридической концепции регулирования и осуществления суверенитета. Кем является верховный правитель для юристов, прежде всего юристов средневековых, а также для всех теоретиков естественного права, будь то Гоббс или Руссо? Суверен для них есть тот, кто способен воспротивиться желанию любого индивида, и, стало быть, вопрос, который необходимо здесь решать, заключается в следующем: каким образом это противопоставленное желанию индивидов «нет» может быть законным и основанным на самой воле людей? Вопрос, разумеется очень сложный. Однако ориентация политико-экономической мысли физиократов, как мы видим, оказывается совсем иной: с их точки зрения, проблема управления — это отнюдь не проблема того, как можно сказать «нет», каким оно должно быть, чтобы удовлетворять условиям оправданности и легитимности. И физиократов заботит как раз прямо противоположное, а именно: как сказать «да», как сказать «да» желанию. Они, следовательно, заинтересованы не в ограничении стремления к земным благам или самолюбия в смысле любви к себе, но, напротив, в том, что стимулирует, развивает это стремление и это самолюбие таким образом, чтобы они приносили плоды, которые должны приносить. Здесь, стало быть, мы имеем дело с матрицей особой, скажем так, утилитаристской философии. [25] И, на мой взгляд, точно так же как Идеология Кондильяка, [26] вообще всё то, что называют сенсуализмом, стали теоретическим инструментом, обеспечившим формирование дисциплинарной практики, [27] так и утилитаристская философия оказалась теоретической предпосылкой того нового, что возникло в эпоху управления населением. (В рукописи (р. 17) на этом месте: «Важно также, что для управления населением «утилитаристская философия» является в какой-то мере тем же, чем для дисциплинарности Идеология». — Прим. ред.)

И, наконец, естественность населения, обнаруживающаяся в связи с этой универсально полезной работой желания, естественность, обнаруживающаяся также в том, что жизнь населения всегда зависит от сложного комплекса разнообразных динамичных факторов, — эта естественность имеет ещё одну форму проявления. Речь идёт о постоянстве феноменов, которые на первый взгляд должны быть, наоборот, весьма изменчивыми, поскольку определяются случайностью, игрой судьбы, индивидуальными особенностями поведения людей, стечением обстоятельств. И тем не менее такого рода, казалось бы, обязанные быть непостоянными феномены, если к ним приглядеться, если подвергнуть их внимательному рассмотрению и взять на учёт, оказываются действительно постоянными. И именно это знаменательное открытие совершил в конце XVII века англичанин Граунт, [28] когда, занимаясь не чем иным, как таблицами смертности, смог установить не только то, что в городе из года в год из жизни обычно уходит одна и та же часть от общего числа жителей,

но и то, что существует постоянное соотношение между различными, причём весьма разнообразными, причинами их смерти.

В итоге одна и та же часть людей умирает от чахотки, одна и та же — от лихорадки, или от камней во внутренних органах, или от подагры, или от желтухи. [29] Но, по-видимому, особенно удивило Граунта то, что, согласно лондонским таблицам смертности, постоянной среди причин смерти является и доля самоубийств. [30] Обнаружились и другие регулярности. Младенцев мужского пола, к примеру, появляется на свет больше, чем женского, но мальчики в силу разного рода обстоятельств умирают чаще, чем девочки, так что в результате через некоторое время диспропорция в количестве мужчин и женщин одного поколения устраняется. [31] Смертность среди детей во всех случаях всегда превышает смертность среди взрослых. [32] Смертность в городе всегда выше, чем в деревне, [33] и так далее. Итак, здесь мы имеем дело с третьей формой проявления естественности населения.

Население, следовательно, представляет собой вовсе не собрание обладающих определённым правовым статусом подданных, которые и по отдельности, и все вместе испытывают на себе воздействие воли суверена. Нет, это комплекс элементов, живущий очень своеобразной жизнью: в её рамках обнаруживаются константы и регулярности даже там, где, казалось бы, могут иметь место только абсолютно случайные события; в ней постоянно даёт о себе знать обеспечивающая всеобщую выгоду работа желания; и она, эта жизнь, всё время зависит от целого ряда достаточно изменчивых факторов. Поэтому тот, кто сосредоточивается на динамике населения, кто делает её, если угодно, относящейся к делу, на мой взгляд, неизбежно открывает для себя нечто весьма важное, а именно то, что пространство техник власти — это ещё и пространство природы, (В рукописи «природы» дано в кавычках. — Прим. ред.) режим управления которой отнюдь не является режимом навязывания её извне справедливых законов суверена. Думать, будто есть такого рода сфера естественности и есть отдельная от неё сфера руководящей активности верховного правителя и подчинения ему индивидов, — значит допускать серьёзную ошибку, ибо естественность населения предполагает, что действительно разумные управленческие решения суверена должны быть ориентированы именно на эту естественность и осуществляться не иначе, как в её границах и при её посредстве.

Иными словами, в случае с населением перед нами уже не объединение субъектов права, различающихся в зависимости от их социального положения, местожительства, доходов, занимаемых должностей и исполняемых обязанностей; [перед нами] (У Фуко: «но». — Прим. ред.) совокупность элементов, которые, с одной стороны, подчинены порядку существования всего живого, а с другой — открыты трансформирующему властному воздействию, при условии, однако, что это воздействие хорошо продумано и рассчитано. То измерение населения, в рамках которого оно выступает частью всего живого, будет в полной мере выявлено и зафиксировано в тот момент, когда для обозначения людей впервые применяют не словосочетание «род человеческий», а выражение «человеческий вид». [34] И можно сказать, что чем больше человеческий род выступает как вид человека, заявляет о себе в поле определённости всех живых существ, тем в большей степени человек демонстрирует свою изначальную принадлежность биологическому. Итак, в рамках своего первого измерения население предстаёт как человеческий вид.

А в рамках второго? А здесь оно оказывается публикой. Само соответствующее слово существовало и раньше, но теперь, в XVIII веке, оно приобретает новый смысл и обозначает наиболее важное понятие столетия. [35] Публика — это население, взятое с точки зрения его настроения, образа жизни, поведения, привычек, страхов, предубеждений и требований, это то, на что воздействуют с помощью воспитания, разного рода пропагандистских кампаний и разъяснительной работы. С населением, стало быть, мы сталкиваемся, когда движемся от укоренённого в биологии вида к открытой для воздействия публике. Начиная с вида и заканчивая публикой — именно в данных границах конституируется новая реальность: реальность, которая оказывается относящейся к делу, значимой для механизмов власти и в режиме и посредством которой эту власть необходимо осуществлять.

К сказанному, как мне кажется, имеет смысл добавить следующее. Кому-то это могло показаться в известной мере случайным, кто-то, возможно, пришёл к выводу, что это делается мной умышленно, но, ведя речь о населении, я постоянно использовал один термин, а именно термин «управление». И чем дальше мы продвигались в анализе населения, тем реже я обращался к слову «суверен». В сущности, дело здесь в том, что передо мной встала необходимость выделить и обозначить ещё один, на мой взгляд, относительно новый феномен — но уже не из области понятий или уровней реальности, а из разряда техник власти. Точнее говоря, мне нужно было указать на процесс, в рамках которого управление начинает оттеснять простое установление правил на задний план, вследствие чего у сторонников ограничения королевской власти в один прекрасный день появится возможность заявить: «Король царствует, но не правит». [36] Речь идёт об инверсии во взаимоотношениях управления и царствования, ставшей причиной того, что, по существу, в центре внимания новоевропейской политики оказалась не проблема верховной власти, царствования, *imperium* (*Imperium* (лат.) — владычество. — Прим. пер.), а проблема управленческих решений. И всё это, на мой взгляд, имеет самую непосредственную связь с населением. Мы, таким образом, получили последовательность «механизмы безопасности — население — управление и формирование пространства того, что называют политикой», и именно эта последовательность, по-видимому, должна быть предметом детального анализа.

Мне хотелось бы попросить у вас ещё пять минут, чтобы сказать кое-что дополнительно, и, я надеюсь, вы поймёте, почему я решил это сказать. В сущности, теперь мы несколько расширим поле нашего исследования. [37] Итак, перед нами абсолютно новый феномен — население, и, как мы видели, его появление стало проблемой и для права, и для политики, и для техники управления. Но если перейти в другую сферу, [сферу], которую можно было бы назвать пространством областей знаний, то население становится проблемой и в этом пространстве. Сейчас я не буду подробно анализировать данный вопрос, а лишь обозначу то, что требует глубокого изучения.

Что же конкретно имеется в виду? Возьмём случай политической экономии. В сущности, те, кто в XVII веке занимался финансами, — а именно финансы находились в центре внимания в то время, — ставили перед собой вполне определённые задачи: дать количественную оценку материальных ценностей, изучить их обращение и роль в нём денег, определить, стоит ли девальвировать или, наоборот, ревальвировать валюту, выяснить, каким образом целесообразно осуществлять и поддерживать внешнюю торговлю. Но поскольку их интересовало исключительно это, постольку «экономическое исследование» (М. Фуко

добавляет: «в кавычках». — Прим. ред.) того периода, на мой взгляд, находилось на уровне, который можно назвать уровнем анализа богатств. [38] И вот в поле зрения как теории, так и экономической практики оказался этот новый субъект, точнее, субъект-объект, каковым является население, — население, характеризующееся не только собственно демографической динамикой, но взаимодействием производителей и потребителей; тех, кто обладает собственностью, и тех, кто её лишён; тех, кто создаёт прибыль, и тех, кто её присваивает.

К чему же это привело? На мой взгляд, после того как экономическая теория и экономическая практика столкнулись с данным субъектом-объектом, они претерпели ряд весьма существенных изменений, которые обернулись тем, что на смену анализу богатств пришёл новый тип знания, а именно политическая экономия. И в итоге в одной из своих основных работ, в статье «Население» для «Энциклопедии», [39] Кенэ всё время подчёркивает: истинное экономическое управление — это управление, имеющее в виду население. [40] Но, по-видимому, ещё больше о том, что проблема населения действительно была ключевой для политико-экономической мысли вплоть до XIX столетия, свидетельствует знаменитое противостояние Мальтуса и Маркса. [41] В чём же разница между этими двумя отталкивающимися от теории Рикардо [42] мыслителями? В том, что Мальтус сконцентрировался на населении и вследствие этого придал своей мысли биоэкономическую направленность, в то время как у Маркса место населения заняли классы, и он поэтому оперирует уже не биоэкономическим понятием населения, а историко-политическими понятиями класса, конфронтации классов и классовой борьбы. Да, переориентация с населения на классы оказалась переломным пунктом развития политико-экономической мысли, однако сама эта политико-экономическая мысль стала возможной только благодаря появлению феномена населения.

Обратимся теперь к случаю естественной истории и биологии. В сущности, естественная история, как вам известно, была призвана выявлять те признаки живых существ, благодаря которым естествоиспытателям удавалось найти им то или иное место в классификационной таблице. [43] Но то, с чем мы имеем дело в XVIII и начале XIX века, представляет собой серию трансформаций в области познавательных установок. Сначала перешли от фиксации этих таксономических признаков к анализу внутренней целостности организма, [44] затем — от анализа организма как структурно-функционального целого к изучению его структурных и функциональных связей с окружающей средой. Вообще говоря, рассматривая различные трактовки этих связей, мы сталкиваемся с проблемой оценки перспективности позиций Ламарка и Кювье, [45] и предпочтение, на мой взгляд, нужно отдать Кювье с отстаиваемыми им принципами рациональности. [46]

И, наконец, реализуется ещё один переход — от Кювье к Дарвину, [47] от изучения существенного влияния на организм среды к исследованию населения в широком смысле слова, то есть населения как определённой совокупности любых живых существ, как популяции (Во французском языке население как совокупность проживающих на некоторой территории людей и популяция как определённая совокупность любых живых организмов обозначаются одним словом — population. — Прим. пер.).

Дарвину удалось показать, что воздействие среды на организм осуществляется через посредника, и этим посредником является не что иное, как популяция. С точки зрения Ламарка, среда воздействует на особь напрямую и тем самым производит своего рода «лепку» организма. Кювье в данном случае был вынужден прибегнуть к конструкциям, казалось бы, более мифологическим, однако в действительности более рациональным: ведя речь о воздействии, он указывает на катастрофы и на Творение, на разного рода творческие акты Бога, хотя ссылки на Бога здесь не имеют сколько-нибудь существенного значения. Но Дарвин обнаружил, что между организмом и средой обязательно находится популяция со всеми характерными для неё процессами: мутациями, отбором и так далее. Таким образом, переход от естественной истории к биологии стал возможен именно благодаря обращению исследователей живого к проблеме населения. Движение от естественной истории к биологии — это движение в его сторону.

И аналогичным образом, на мой взгляд, обстоит дело с переходом от общей грамматики к исторической филологии. [48] Общая грамматика занималась анализом отношений между лингвистическими знаками и представлениями любого говорящего субъекта, или говорящего субъекта вообще. Филология же появилась тогда, когда ряд исследований, которые исходя из политических соображений были проведены в различных странах мира, и прежде всего в государствах Центральной Европы и в России, позволил обнаружить связь между языком и населением. В сущности, филологи поставили перед собой задачу выяснить, каким образом население как коллективный субъект может в ходе истории — разумеется, не произвольно, а в соответствии с законами самой языковой среды — трансформировать язык, на котором говорит. Так что обращение к проблеме населения как субъекта, с моей точки зрения, обеспечило переход и от общей грамматики к филологии.

Подводя итог, я хотел бы сказать следующее. Если мы задаёмся вопросом, что является оператором той трансформации, которая предстаёт перед нами в виде перехода от естественной истории к биологии, от анализа богатств к политической экономии и от общей грамматики к исторической филологии, если мы спрашиваем, что является фактором превращения определённых систем, форм знания в науки о жизни, труде и производстве и языке, то ответ может быть только один: в качестве такого оператора, такого фактора выступает население. Конечно, было бы ошибкой полагать, будто дело обстояло таким образом, что однажды правящие классы осознали наконец важность населения и обратили на него внимание естествоиспытателей, сразу же превратившихся в биологов, грамматистов, в одночасье оказавшихся филологами, и финансистов, быстро переквалифицировавшихся в экономистов. Нет, дело обстояло иначе, ибо процессы становления населения и процессы становления нового знания влияли друг на друга. С одной стороны, новые виды знания возникали постольку, поскольку формировались их предметные области, а последние складывались в той мере, в какой конституировалось население. Само же население в пространстве реальности, как её специфическая сфера, конституировалось благодаря непрерывному взаимодействию реальности и техник власти, а значит, выступало своеобразным коррелятом этих техник. Однако, с другой стороны, конституироваться и существовать в качестве особого коррелята новоевропейских механизмов власти население могло лишь в силу того, что познание не стояло на месте, но постоянно определяло для себя все новые и новые объекты исследования.

А отсюда вывод, касающийся человека. В гуманитарных науках (В рукописи словосочетание «гуманитарные науки» заключено в кавычки. — Прим. ред.), где человек предстаёт в виде живого существа, трудящегося индивида и говорящего субъекта, его трактовка напрямую связана с появлением населения как феномена, взаимодействующего с властью, и как объекта познания. Человек, каким его мыслили, каким его характеризовали в дисциплинах, именуемых с XIX века гуманитарными, и каким он заявляет о себе в рамках гуманизма XIX столетия, — это не что иное, как представитель населения. Для верховной власти и соответствующей теории суверенитета человека не существовало: они имели дело с субъектом права и оперировали юридическим понятием данного субъекта. Но когда власть выступает уже не в форме суверенитета, а в форме управления, когда она применяет искусство управления в отношении населения, взаимодействуя с населением, она взаимодействует и с человеком, ибо человек, на мой взгляд, в известном смысле так же принадлежит населению, как субъект права принадлежит суверену. Ну вот, круг вопросов очерчен, проблема обозначена.

Версия #1

Зверобой создал 27 января 2026 20:52:38

Зверобой обновил 27 января 2026 20:55:22